

**«ТЫ НЕ ЛЕПЕЧЕШЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ...»
(Послание А. С. Пушкина «Калмычке»: из материалов к комментарию)
“You don’t Prattle in French...”
(A. S. Pushkin’s Address “To a Kalmyk Maiden”: from the Materials to the Comments)**

Б. А. Кичикова (B. Kichikova)¹

¹ кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела письменных памятников, литературы и буддологии Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. (Ph. D. of Philology, Associate Professor, Senior Scientist of Manuscript, Literature and Buddhist Studies Department at the Kalmyk Institute for Humanities of the RAS). E-mail: kigiran@elista.ru.

Статья содержит историко-литературный комментарий к строке «Ты не лепечешь по-французски» из послания А. С. Пушкина «Калмычке» (15–22 мая 1829 г.). Для комментирования привлекаются фрагменты из поэмы «Граф Нулин», романа «Евгений Онегин» и пушкинской литературной критики, но прежде всего — ряд черновых вариантов четверостишия, противопоставляющего портрет калмычки собирательному эпитаграмматическому портрету русской дворянки с его главной чертой — «полуевропейской полупросвещенностью».

Ключевые слова: Пушкин, калмычка, портрет, эпитаграмма, просвещение и цивилизация, «естественный человек», язык и культура, патриотическая публицистика, литературная критика.

The article contains historical and literary commentary on the line “You don’t prattle in French...” from A. Pushkin’s Address “To a Kalmyk Maiden” (May 15–22, 1829). To comment it a number of draft quatrains are involved, which contrast Kalmyk Maiden portrait description with an epigrammatic generalized portrait of Russian noblewoman with her cardinal trait – halfeuropean halfenlightenment. Addressing to some fragments of the poem “Earl Nulin”, the novel in verse “Eugene Onegin”, to Pushkinian literary criticism, to historical and literary as well as to historical and everyday materials of the era, is necessary to cover a subject matter of the Russian language and national culture, mentioned in the commented line of the address “To a Kalmyk Maiden”.

Keywords: Pushkin, Kalmyk Maiden, portrait, epigram, enlightenment, and civilization, “natural person”, language and national culture, patriotic essays, literary criticism.

Как широко известно, стихотворение «Калмычке», написанное в 1829 г., в начале путешествия А. С. Пушкина на Кавказ и в Закавказье — к действующей армии, отображает впечатления от встречи с калмыками, которые издавна вызывали живейший интерес поэта, и от посещения калмыцкого семейства в его кибитке. На основании «картографических и статистических материалов» и биографических свидетельств И. В. Борисенко установил, что «получасовая встреча Пушкина в 1829 году произошла на Черкасском тракте в кочевьях Нижнего улуса донских калмыков при проезде поэта через почтовые станции Кагальницкую, Мечетинскую, Егорлыкскую», предположительно определив место этой встречи: «у станции Кагальницкой, у современной станции Кагальницкой Зерноградского района

Ростовской области» [Борисенко 1981: 59].

Черновой вариант стихотворения хронологически соотносится со сделанной в Георгиевске записью путевого дневника от 15 мая 1829 г., где к рассказу о встрече со «степной Цирцеей» приписана фраза: «Вот к ней послание, которое вероятно никогда до нее не дойдет» (VIII, 1029; вариант 18¹). Текст стихотворения «Калмычке» не был вписан.

¹ Тексты А. С. Пушкина приводятся в статье с указанием тома и страницы в скобках после цитаты по репринтному воспроизведению Большого академического издания: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 16-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949, – дополненного к юбилею поэта: В 19-ти т. М.: Воскресенье, 1994–1997. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, кроме передачи черновых вариантов.

По мнению исследователя, черновой текст послания «набросан именно 15 мая», после первого варианта («Все тихо, на Кавказ идет ночная мгла») стихотворения «На холмах Грузии...», посвященного М. Н. Волконской [Левкович 1988: 121]. Вероятно, виды Предкавказья вызвали воспоминания о предыдущей (1820 г.) поездке по Кавказу с семейством генерала Н. Н. Раевского и о юношеской влюбленности поэта. Тут же, по ассоциации, вспоминается и недавняя встреча – с «занимавшей» воображение калмычкой. «К ней послание» перебелено 22 мая, уже во Владикавказе, а его «национальный колорит вызывает замену русского названия Владикавказ старинным Кап-Кой» [Левкович 1988: 121], как следует из пометы о времени и месте перед текстом (III, 728). Таким образом, «в запись от 15 мая необходимо включать стихотворение «Калмычке» — его место в дневнике сразу было определено самим Пушкиным» [Левкович 1988: 133].

«Послание» дочери народа, к которому он питал давнюю и явную симпатию, по своему уникально в творческом наследии Пушкина. Стихотворение «Калмычке» является одним из связующих звеньев между основными системами его художественного наследия — поэзии (включаясь в создававшийся цикл «Стихи, сочиненные во время путешествия (1829)», или «Кавказского цикла», как его не совсем точно называют) и прозы (авторское название «путевые записки» нередко заменяют определением «Кавказский дневник», в 1835 г. переработанный в «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»).

Эти взаимосвязи не ограничиваются лишь эпизодом дорожной встречи, хотя «наличие разных прозаических версий позволяет» исследователю «рассматривать стихотворную прежде всего как еще один жанрово-стилистический эксперимент на фоне двух других» [Шапир 2009: 211]. Кроме того, в нем слышатся отголоски, а то и предвестие литературно-эстетической концепции «поэзии действительности», сформировавшейся в пушкинской критике на рубеже 1820–1830-х гг. Данное послание связано и с семейным эпистолярием поэта. Таким образом, это центральное произведение пушкинского «калмыцкого текста» представляет собой существенную историко-литературную проблему, разрешение которой требует комплексного исследования

и подробнейшего комментария к тексту. В частности, в данной статье комментируется строка 8 **Ты не лепечешь по-французски.**

Эта строка входит в состав четверостишия с портретной характеристикой адресата послания:

**Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног** (III, 159).

Черновые наброски сохранили следы напряженных поисков тематического разрешения этого, важного в плане композиции всего послания, второго четверостишия, которое поначалу кажется практически готовым и вполне удавшимся:

**Твои глаза конечно узки
И плоско милое лицо
Ты не болтаешь по-французски
Не можешь вы<молвить> словцо...**

(III, 726)

Знакомый с чертами этнического типа калмыков, Пушкин видит их «сейчас» в природной, «естественной» среде — в интерьере кибитки (микрокосм) и на степном просторе (макркосм) он словно постигает эти черты заново. Возможно, именно поэтому возникает замысел обрисовать внешность калмычки не просто как «необычную», но в тонах эпатажа, иронически подразумевающих снисходительность позиции «цивилизованного» наблюдателя внешности и повадок «инородцев». Ведь в отличие от «прозаического» описания калмычки, передающего ее очарование в эпизоде «Путевых записок», портрет в поэтическом «к ней послании» вовсе не «поэтичен»: в нем выделена расово-этническая доминанта (с шутливо-констатирующим «конечно» в значении «как и следует быть») — «**твои глаза, конечно, узки**», подчеркнуты характерные пропорции и детали лицевого рельефа — «**И плосок нос, и лоб широк**», но зато устранены признаки «миловидности» (в черновом варианте: «**И плоско милое лицо**»).

По поводу этого портретного описания Д. Д. Благой заметил: «... если в «Кавказском пленнике» «природа», в лице «девы гор», представала в романтическом, идеализированном виде, здесь она дана такой, как есть. <...> Подобный этнографически точный женский портрет, конечно, был бы немислим ни в южных поэмах, ни вообще во всей предыдущей лирике Пушкина» [Благой 1967: 358].

Трудно было бы усмотреть в этом беглом наброске отнюдь не мадригального свойства намек на восхищение «красой», пусть даже и «дикий». Однако последние слова этих двух строк (а ведь именно из «концевых» слов слагается энергия стиха), противоположные по смыслу («узкие — широкие»), функционально предваряют развернутое далее противопоставление калмычки «младым грациям» и «модным женам», которое образует смысловой и композиционный центр послания, и представляют позицию его автора в ключе эпиграммы.

При переработке черновика этого четверостишия изменение второй строки означало отказ и от рифмующей с нею четвертой строки. И тогда определился замысел второй части четверостишия как более резкой по характеристике условного персонажа — антипода калмычки:

О Ламар<тине> по французски...

В шелку не жмешь проворных ног...

Имя Ламартина возникло в черновой рукописи по далеко не случайной ассоциации.

Ламартин, Альфонс-Мари Луи, де (1790–1869) своими «Поэтическими раздумьями» (1820) и «Новыми поэтическими раздумьями» (1823), о которых Пушкин заметил: «Первые думы Ламартина в своем роде едва ли не лучше Дум Рылеева» (черновик письма П. А. Вяземскому, 4 ноября 1823 г., из Одессы; XIII, 381), — открыл эпоху романтической лирики во Франции, с запозданием вступившей в общеевропейское движение романтизма. Ламартин оставался единственным французским романтиком, «более или менее известным в России до 1830 г.» [Томашевский 1960: 162]. И если в 1824 г. Пушкин еще находил, что Ламартин «хорош какой-то новой гармонией» (набросок письма П. А. Вяземскому, 5 июля 1824 г., из Одессы; XIII, 102), то год спустя обывательское, профанное «общее мнение» об этом поэте сформулировал, иронически скаламбурив: «Под романтизмом у нас разумеют Ламартина» (А. А. Бестужева, 30 ноября 1825 г., из Михайловского; XIII, 245).

«И чем больше растет популярность Ламартина, тем меньше ценит его Пушкин. Он вкладывает достаточно презрения к этому поэту, когда заставляет говорить о нем легкомысленного графа Нулина» [Томашевский 1960: 161] в ответ на расспросы провинциальной дамы о парижской жизни:

«Какой писатель нынче в моде?»

– Все d’Arlincourt и Ламартин. –

«У нас им также подражают».

– Нет? право? Так у нас умы

Уж развиваться начинают?

Дай бог, чтоб просветились мы! (V, 7)

Поэма «Граф Нулин» написана 13-14 декабря 1825 г., впервые опубликована в альманахе «Северные цветы на 1828 год» А. А. Дельвига 22 декабря 1827 г. По всей видимости, уже к лету 1829 г., когда имя Ламартина промелькнуло в черновике послания «Калмычке», у Пушкина окончательно сложилось мнение о французском романтике, которое год спустя он выскажет в заметке «Об Альфреде Мюссе»: «сладкозвучный, но однообразный Ламартин» (24 октября 1830 г.; XI, 175). «После 1830 г., когда Ламартин издал свои «Поэтические и религиозные созвучия» <...>, Пушкин окончательно осудил его за ханжество в поэзии. Лирики «благочестивой» Пушкин не признавал» [Томашевский 1960: 161–162]. Одним из ведущих литературных суждений Пушкина 1830-х годов является мнение о полном упадке поэзии во Франции. Он называл французов «народом самым anti-поэтическим» и писал: «Не знаю, признались <ли> наконец они в тощем и вялом однообразии своего Ламартина, но тому лет 10 они без церемонии ставили его на равне с Байроном и Шекспиром» (<Начало статьи о В. Гюго>, осень 1832 г.; XI, 219).

Словом, безликим персонажам стихотворения «Калмычке», как и героям юмористической стихотворной повести «Граф Нулин», нетрудно было бы беседовать о Ламартине: его поэзия с годами не менялась, что у Пушкина, стремительно переросшего романтический этап своей творческой эволюции, не могло не вызвать иронического отношения, разумеется, имевшего далеко не однозначный характер [см.: Эткинд 1999: 163–200]. «Ламартин» становится лишь случайным поводом для оформления речи: о нем можно «рассуждать», как и на любую другую тему, с ценным в свете «ученым видом знатока». Таким образом, идея поверхностно усвоенной европейской культуры, определяющей «внутренний мир» массовидного светского человека, здесь уже выявилась. Но от вторжения литературной темы в эту часть стихотворения Пушкин отказался: она уводила в сторону и нарушала непрерывность «графической линии» в эскизном наброске «статистики», выхваченной из тол-

пы «антиподов» адресата послания. Строка с упоминанием имени Ламартина не вошла в окончательный текст стихотворения, но «вкус» ее литературной проблематики и ассоциативный ряд, вызванный ею, определит последующее развитие творческой мысли автора. Пока же в эпиграмматически лаконичной строке способность вести разговор «о Ламартине» (с которым Пушкин «разделался» еще в «Графе Нулине») была лишь сатирической подробностью, но не стала доминирующим признаком характеристики персонажа. В поисках такого признака помогло «концевое» слово черновой строки – **«по-французски»**, пригодился и бесценный опыт работы над «Евгением Онегиным». Так естественно появилась простая, но емкая по смыслу, строка:

Ты не лепечешь по-французски... — Французская речь — общеизвестный, а для пушкинского времени — главный признак принадлежности к «благородному» сословию, имевший значение «своеобразного социального пароля» [Лотман 1980: 125]. Быт русского дворянства «с екатерининских времен испытывал сильное влияние Франции, в результате этого влияния для многих представителей русского дворянского общества родным языком наравне с русским был французский» [Томашевский 1960: 65].

Ирландка Мэри Уилмот (Вильмот), разделявшая ученый досуг знаменитой, некогда возглавлявшей две российские Академии, кн. Е. Р. Дашковой, описала свои впечатления от длительного пребывания в России начала XIX в.: «Высшие сословия стараются, к сожалению, во всем подражать французам. Среди этого поклонения французским манерам и обычаям есть что-то детски забавное в их напаках на Бонапарта и французов, когда они не смогут съесть своего обеда, чтобы он не был приготовлен французским поваром; когда они не могут воспитать своих детей без разных искателей приключений из Парижа в виде наставников и гувернанток» [цит. по: Познанский 1975: 20].

«Жалкая тошнота по стороне чужой», как она названа в комедии «Горе от ума», — постоянная тема новой, то есть послепетровской, русской литературы. Нападки на расточительность и мотовство в лихорадке дворянского «чужебесия», характерные для русской сатиры со времен А. Д. Кантемира («Деревню взденешь потом на себя ты целу», — обвинял он веком ранее пусто-

лового потомка некогда заслуженно знатных предков во II сатире «На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет и Евгений» — 1729) [Кантемир 1956: 72], сменяются насмешками над речью «поврежденного класса полувропейцев», как выразился А. С. Грибоедов (в очерке «Загородная поездка» — 1826 [Грибоедов 1953: 389]), — с ее предпочтением французского языка или характерной смесью «французского с нижегородским». А с начала 1820-х гг. — в декабристской публицистике, в «Горе от ума» и в первых главах «Евгения Онегина» — развитие этой темы в русле идеи возрождения национального языка и культуры сблизило романтическую концепцию «народности» (К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев) с реалистической концепцией духовного возрождения нации и самобытности ее исторического развития (А. С. Грибоедов и А. С. Пушкин).

Тема дворянской языковой культуры и, в частности, речевой культуры женщин, образует широкий диалогический контекст в отступлении из III главы «Евгения Онегина», приглашающем читателя к обсуждению поступка Татьяны — ее письма к Онегину, написанного по-французски и изложенного по-русски «в переводе» автора. Пушкинское осмысление этой темы развивается не без оглядки на ее литературную репутацию: ведь «дамские ошибки в русском языке и французский лепет «прекрасного пола» были традиционным, безоговорочно завоеванным полем сатиры» [Лотман 1996: 386]. Однако от характеристики коллективного образа «милых созданий», которые

... русским языком

Владея слабо и с трудом,

Его так мило искажали,

И в их устах язык чужой

Не обратился ли в родной?

(гл. III, стр. XXVII; VI, 63) —

эта тема переходит в область, где противоречиво дополняют друг друга собственные пристрастия автора романа («Без грамматической ошибки / Я русской речи не люблю») и высказанное с такой грациозной иронией чувство долга национального поэта («Родной земли спасая честь, / <...> Письмо Татьяны перевесть»).

В этом тематическом пространстве сгустились слова «лепет», «лепетание» и даже каламбурно-иронический неологизм «лепетация» (от «репетиция» — повторение), отобранные для характеристики как русской,

так и французской речи светского общества. Начало XXIX строфы:

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей... (VI, 64) –

Ю. М. Лотман комментирует так: «“Язык щеголей” — светский, и в особенности дамский жаргон — отличался особой артикуляцией, небрежной и нечеткой. Ср. портрет “модной девицы”: “С приятностию умеющая махаться веером и помощью одного знающая искусно развевать и разбрасывать волосы, по моде несколько картавящая и пришепывающая язычком, прищуривающая томные свои глазки и имеющая привлекательную улыбку»» [Лотман 1980: 225 (курсив Ю. Л.)]. Сам же Пушкин, изъездивший к 1830 г. почти всю европейскую часть России и слушавший родной язык в многозвучии северо-западных, центральных и южных его говоров, констатировал: «Московский выговор чрезвычайно изнежен и прихотлив. Звучные буквы *щ* и *ч* пред другими согл<асными> в нем изменены. Мы даже говорим *женщины, нослег...*» (из цикла <Опровержение на критике>. Статьи и заметки. — Сентябрь — октябрь 1830; XI, 149).

В беловом автографе строфу о «небрежном лепете» предваряли еще две — с критикой современной российской словесности, и открывались они принципиальным суждением:

Сокровищем родного слова
Заметят важные умы
Для лепетации чужого
Безумно пренебрегли мы. (VI, 583)

Фрагменты этих строф Пушкин позднее переносит в VII главу, отведя им место в «Альбоме Онегина», который должна была прочесть Татьяна, посещая «деревенский кабинет» отправившегося в путешествие героя. Под номером 7 в качестве сентенции самого Онегина тут помещена иная редакция приведенного выше суждения:

Сокровища родного слова
Заметят важные умы
Для лепетания чужого
Безумно пренебрегли мы
Мы любим Муз чужих игрушки
Чужих наречий погрешки...

(VI, 615–616).

Таким образом, строфы о «сокровищах родного слова», написанные к июню 1824 г. и связанные с кругом основных идей прогрессивной патриотической публицистики, сохраняют для Пушкина свою актуальность

и весной 1828 г. (беловая рукопись «Альбома Онегина» помечена 5 апреля). Осенью 1828 г., завершая так трудно давшуюся ему VII главу, поэт решил не включать «Альбом» в текст романа [Лотман 1980: 314–320], однако ввел скрытую переключку с мотивом «лепета» из «пушкинско-онегинских» сентенций в прокомментированную строку послания «Калмычке».

Литература

- Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М.: Сов. писатель, 1967. 724 с.
- Борисенко И. В. О месте встречи А. С. Пушкина с калмыками в 1829 г. // Исследования по исторической географии Калмыцкой АССР. Элиста, 1981. С. 49–61.
- Грибоедов А. С. Сочинения. М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1953. 771 с.
- Кантемир А. Д. Собрание стихотворений / ред. П. Н. Берков. Л.: Сов. писатель, 1956. (Большая серия «Библиотеки поэта». Изд. 2). 544 с.
- Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л.: Наука, 1988. 328 с.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVII – начало XIX века). СПб.: «Искусство – СПб», 1996. 399 с.
- Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980. 416 с.
- Познанский В. В. Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX века. М.: «Мысль», 1975. 223 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 19-ти т. М.: Воскресенье, 1994–1997.
- Т. 3. Стихотворения. 1826–1836. М.: 1997. 1379 с.
- Т. 5. Поэмы. 1825–1833. М.: 1994. 543 с.
- Т. 6. Евгений Онегин. М.: 1994. 697 с.
- Т. 8. Романы и повести. Путешествия. М.: 1995. 1117 с.
- Т. 11. Критика и публицистика. 1819–1834. 588 с.
- Т. 13. Переписка. 1815–1827. М.: 1996. 651 с.
- Томашевский Б. В. Пушкин и французская литература // Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 62–174.
- Шапир М. И. О неровности равного: Послание Пушкина «Калмычке» на фоне макроэволюции русского поэтического языка // Шапир М. И. Статьи о Пушкине. М.: Языки слав. культур, 2009. С. 209–217.
- Эткинд Е. Г. Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во Франции. М.: Языки русской культуры, 1999. 600 с.